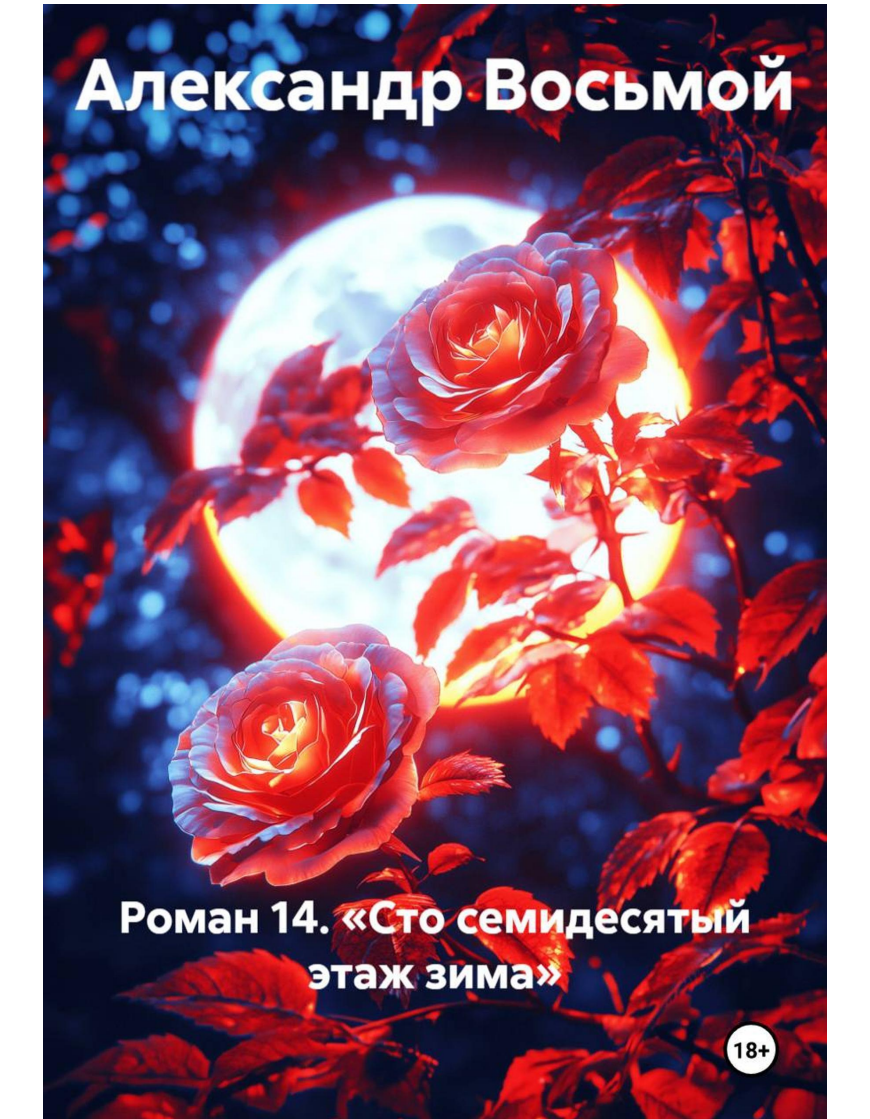


Александр Восьмой



Роман 14. «Сто семидесятый
этаж зима»

18+

Александр Восьмой

Роман 14. «Сто семидесятый этаж зима»

<https://litres.ru/74467797>

SelfPub; 2026

Аннотация

Цитадель встречает полярную ночь. Двести этажей тонут во тьме, и только окна верхних уровней горят медовым светом. Наталия обнаруживает, что знает Цитадель лучше, чем думала: она помнит, на каком этаже какой аромат, где пол теплее, где эхо длиннее. Оптима заболевает — простая простуда, но в Цитадели нет врача, только он сам и она. Наталия три ночи не спит, готовит отвар, считает пульс. На рассвете четвёртого дня он открывает глаза и говорит: «Я обещал любить вас вечно. Но, кажется, вы первые это доказали.» Это книга о повороте, когда плен перестаёт быть пленом — и становится чем-то, чему нет названия.

Александр Восьмой

Роман 14. «Сто

семидесятый этаж зима»

Глава 1. Двести этажей темноты

Полярная ночь опускалась на Цитадель, как веки на глаза — медленно, неотвратимо, с тихим стеклянным звуком, с которым замёрзшее озеро принимает последний снег.

Двести этажей погружались в абсолютный мрак. Окна верхних уровней ещё горели медовым светом — последние угли в огромном остывшем очаге, — но тьма уже ползла по стенам, этаж за этажом, как вода, заполняющая перевернутый кубок.

Наталия стояла у окна двести первого этажа и смотрела, как чёрный мир глотает горизонт. Где-то внизу — забытые комнаты, пустые залы, лестницы, ведущие в никуда. Где-то наверху — он. Оптима. Человек, который принёс её сюда сквозь метель на руках и пообещал вечную любовь так спокойно, будто сообщал погоду.

Она ещё не знала, что Цитадель уже начала вспоминать её.

Первый знак был пустяком.

Наталия спускалась по лестнице со сто девяносто восьмо-

го этажа — просто шла, не думая, — и вдруг остановилась. Пальцы легли на стену, и стена была тёплой. Не от отопления. Тёплой, как кожа. Она знала это. Тело знало. Ноги сами несли её мимо дверей, которые она не видела, к арке, которой не помнила, — и за аркой пахло кедром и горьким мёдом.

Она никогда здесь не была.

Или была — так давно, что память ушла в руки и ступни, в то, что ниже слов.

На сто пятидесятом этаже пол был теплее. На сто двадцатом — эхо длиннее, и Наталия знала это до того, как кашлянула. На девяностом — воздух пах ликёром и старой бумагой. На сороковом — сквозняк дул из щели, которую она могла найти с закрытыми глазами.

И находила.

Цитадель вспоминала её — не словами, а теплом стен, изгибами коридоров, запахами, которые преследовали, как мелодия, слышанная во сне. Наталия ходила по тёмным этажам, и тьма не пугала её. Она злилась. Злилась, потому что узнавать чужой дом лучше, чем свой, — это ненормально. Это подозрительно. Это похоже на то, что ты и есть этот дом, только ещё не понял.

Оптимист заболел на третьи сутки полярной ночи.

Простая простуда — и смешная, и невозможная: хозяин

двухсотэтажной твердыни, человек, который украл её, как дракон крадёт принцессу, — лежал с температурой тридцать восемь и пять и морщился, когда она открывала форточку.

— В Цитадели нет врача, — сказал он, и голос был хриплым и виноватым, будто он извинялся не за температуру, а за то, что оказался уязвим.

— В Цитадели нет многого, — ответила Наталия. — Но, кажется, есть я.

Она не спала три ночи.

Готовила отвар из трав, которые нашла на кухне сто девяносто девятого этажа — и снова знала, на какой полке что стоит, хотя не открывала ни одного шкафа. Считала пульс, держа его запястье двумя пальцами, и пульс был ровным и тёплым, как ток в проводе, по которому бежит свет. Меняла компрессы. Вытирала лоб. Сидела в кресле у кровати и смотрела, как он дышит, и тьма за окном стояла стеной, и Цитадель молчала — впервые молчала, будто тоже ждала.

Наталия не думала о любви. Она думала о том, что человек, который обещал вечность, оказался смертным. Что температура тридцать восемь и пять — это очень мало для вечности. Что руки у него — длинные и неуклюжие, и он спит, скинув одеяло, и она каждый раз накрывает, и он каждый раз скидывает, и это было так *ordinarily*, так бытово, так неэпично — что сердце сжималось от чего-то, чему она не давала имени.

На рассвете четвёртого дня он открыл глаза.

Серый, жидкий, первый за неделю свет просочился в окно — и Цитадель вздохнула. Где-то внизу щёлкнул замок. Где-то наверху провернулась лебёдка. Двести этажей вздрогнули, как тело, очнувшееся от сна.

Оптимист посмотрел на неё — на тёмные круги под глазами, на остывший отвар, на руки, всё ещё лежащие рядом с его запястьем.

— Я обещал любить вас вечно, — сказал он тихо, и голос был ещё хриплым, но уже его, уже тёплым, уже живым. — Но, кажется, вы первые это доказали.

Наталия молчала. Потом встала, закрыла форточку, которую он снова умудрился приоткрыть во сне, и сказала:

— Не преувеличивайте. Я просто не нашла врача.

Но руки у неё дрожали.

И Цитадель это видела.

Глава 2. Медовый свет

Первый день без солнца.

Наталия проснулась от того, что мир стал тише. Не немым — именно тише, как человек, который вышел в соседнюю комнату и говорит оттуда, приглушённо, на половину голоса. Солнце ушло. Не закатилось, не погасло — ушло, как уходят гости: тихо, вежливо, пообещав вернуться через полгода.

Она встала. Босые ноги коснулись пола — и пол был тёп-

лым, как парное молоко. Цитадель не забыла о ней за ночь.

Верхние этажи жили своим светом. Не электрическим, не огненным — медовым, густым, текучим, будто кто-то растопил янтарь и разлил его по стенам. Наталия шла по коридорам двести первого этажа, и свет двигался вместе с ней, не отставая, не обгоняя, — как ручное животное, которое выбрало хозяина и больше не сомневается.

Она бродила без цели. Без плана. Без страха — и это пугало больше всего.

На третьем этаже пахло кедром и старой бумагой. Наталия остановилась, вдохнула — и внутри что-то щёлкнуло, как замок, к которому подобрали ключ. Она знала этот запах. Не помнила — знала. Так знают вкус воды из колодца, в котором выросли: не умом, а горлом, не головой, а телом.

На сорок седьмом пол был теплее. Не от батарей — от чего-то под ним, живого, дремлющего, свернувшегося, как кошка на печке. Наталия присела, прижала ладонь к камню, и тепло поднялось по руке, прошло через локоть, добралось до сердца — и сердце не удивилось. Сердце сказала: «Ну да. Конечно. Я знаю.»

На сто двенадцатом эхо было длиннее. Она кашлянула — и звук понёсся по коридорам, петляя, сворачивая, возвращаясь с задержкой, как собака, которая бежит за хозяином и не может найти его сразу, и мечется, и скулит, и наконец на-

ходит — и от радости лает дважды. Голос вернулся дважды. Трижды. Этаж за этажом.

Наталия стояла посреди пустого зала на сто двенадцатом и думала: *я здесь впервые*.

Но тело говорило другое.

Тело шло вперёд без карты. Тело знало, где свернуть, где пригнуться — потолок ниже на полтора шага, она пригнулась, не думая, и только потом поняла, что пригнулась. Тело толкало её к двери на лево, и за дверью была винтовая лестница, и лестница вела вниз, и Наталия спускалась, и ступени были вытерты ровно посередине — но не от её ног. От чьих-то других. Давних.

Чьих?

— Вы блуждаете, — сказал Оптима.

Он стоял у окна сто девяносто девятого этажа, в свете, который делал его лицо моложе. Не юным — моложе. Как будто тьма старила его, а медовый свет возвращал украденное.

— Я не блуждаю, — ответила Наталия. — Я гуляю. Это разные вещи.

— Гуляют по знакомым местам.

— И по незнакомым.

— А вы гуляете, как по знакомым.

Она замолчала. Он улыбнулся — краем рта, одним уголком, как будто улыбался только половиной лица, а вторая

половина держала серьёзность, как щит.

— Я не знаю эту Цитадель, — сказала Наталия.

— Знаете, — ответил он. — Вы просто не помните, откуда.

И посмотрел на неё так, будто знал. Точно знал. И молчал, и медовый свет стоял между ними стеной, и в этой стене было окно, и в окне — она, отражённая, с тёмными кругами под глазами и вопросом, который она не задавала, потому что боялась ответа.

Вечером она нашла кухню на сто девяносто девятом.

Не нашла — пришла. Ноги принесли. Полки были высокими, и она тянулась к верхней, где стояли жестяные банки, и знала — не глядя — что в крайней слева сушёная мята, в крайней справа гвоздика, а посередине — что-то, чего она не хотела называть, потому что запах был слишком знакомым, слишком домашним, слишком не-здешним.

Оптимист появился в дверях бесшумно, как всегда, — высокий, нескладный, с лицом, на котором медовый свет лежал, как тёплый шарф.

— Позвольте, — он протянул руку к верхней полке, и рукав задрался, и она увидела шрам на запястье — тонкий, белый, старый, как сама Цитадель.

Она не спросила. Он заметил, что она заметил. И не убрал руку. И не объяснил.

— Спасибо, — сказала Наталия и взяла банку. Их пальцы соприкоснулись — на секунду, на полсекунды, на вдох. Его рука была горячее. Не больным-горячее — живой-горячее, как стена сорок седьмого этажа, как пол на третьем, как всё в этой Цитадели, что было тёплым.

Она отдёрнула руку.

Он не отдёрнул.

— Вы дрожите, — сказал он.

— Холодно.

— В Цитадели не бывает холодно.

— Значит, мне нужно больше одеял.

Или — не думала она, но тело думало — или нужно перестать трогать то, что обжигает, не обжигая. Что греет, как печка, к которой не хочется прижиматься, потому что прижиматься хочется слишком сильно.

Ночью — если ночь можно назвать ночью, когда тьма стоит снаружи стеной, а внутри горит медовый свет — Наталия лежала в комнате на двести первом и слушала Цитадель.

Цитадель дышала.

Не метафорой. Не сравнением. Дышала — с тихим, ровным, глубоким гулом, который шёл отовсюду: из стен, из пола, из-под потолка, из-под сорок седьмого этажа, где спало что-то живое. Двести этажей вдыхали и выдыхали, и Наталия лежала и считала — не пульс, не минуты, а вдохи — и засы-

пала на сто тридцать втором, на том самом, где эхо длиннее, и где голос возвращается с задержкой, словно бежит по коридорам и обратно.

Словно ищет.

Словно ждёт.

Словно помнит — то, что она забыла.

Глава 3. Ароматный этаж

Шестьдесят первый этаж не было на картах.

Наталия спускалась по винтовой лестнице со сто двенадцатого — той самой, с вытертыми ступенями, — и на середине пролёта стена ушла вправо, открыв коридор, которого не было вчера. Или был — но прятался, как прячут вещи, которые не хотят показывать гостям, пока не убедятся, что гость — свой.

Коридор был коротким. Шесть дверей — по три с каждой стороны, — и каждая была из разного дерева. Наталия знала это, не прикасаясь: первая — дуб, вторая — кедр, третья — что-то светлое, незнакомое, пахнущее молоком и детством.

Она открыла первую.

Корица.

Запах ударил в лицо, тёплый, густой, обволакивающий, — и вместе с ним пришло воспоминание, которого у неё не было. Чужая кухня. Деревянный стол. Руки — маленькие,

женские, в муке — раскатывают тесто, и корица сыплется на стол, как ржавое золото. И смех — её смех? Нет. Чужой. Незнакомый. Но тело смеялось вместе с ним, как будто смех был общим, как будто кухня была общей, как будто мука на руках была общей.

Наталия закрыла дверь. Открыла вторую.

Мокрый камень.

Запах подземелья, колодца, дождя, который прошёл сквозь камень и остался в нём, как слеза остаётся на реснице. И воспоминание: тёмный коридор, свеча в руке — её руке? — и шаги впереди, быстрые, лёгкие, детские, и кто-то бежит, и кто-то зовёт по имени. По какому имени? Она не расслышала. Имя растворилось в мокром камне, как сахар в холодной воде.

Третья дверь.

Луговой мёд.

И — поляна. Солнце. Трава по пояс. Она лежит в траве, и кто-то рядом, и руки переплетены, как корни деревьев, и пахнет мёдом, потому что рядом улей, и пчёлы гудят, и ей не страшно, и кто-то целует её плечо, и она смеётся, и смех её, её, её — но плечо чужое, и трава чужая, и солнце — то ли чужое, то ли общее.

Четвёртая. Горький шоколад.

Комната. Вечер. Свечи на подоконнике — десятки, сотни, — и кто-то говорит: «Я не умею без тебя». Голос мужской. Низкий. С хрипотцой. Знакомый? Нет. Нет. Нет. Но сердце

говорит — да, и сердце не объясняет, а просто бьётся чаще, и Наталия стоит в дверях, и шоколадный запах давит на грудь, как чужая ладонь, и она не может дышать, и не может уйти, и не хочет.

Пятая. Белые лилии.

И — тишина. Абсолютная, ватная, подводная. И в тишине — детская. Маленькая, белая, пустая. И колыбель. И кто-то качает колыбель, и песня — без слов, только мелодия, и мелодия — её, её, её, из какого-то давнего, забытого, стёртого, что нельзя вспомнить, но можно узнать. Наталия узнала. По телу. По горлу, которое сжалось. По глазам, которые намокли, и она не понимала — почему.

Шестая дверь была закрыта.

Не заперта — закрыта. Плотно, как закрывают то, за чем нельзя заставить. Наталия протянула руку — и рука остановилась в воздухе, в ладони от ручки, как перед обрывом. Не страх. Не отвращение. Что-то глубже. Уважение. Почтение. Как перед порогом чужого храма: можно войти, но нельзя входить, пока не позовут.

Её не позвали.

— Наталия.

Его голос пришёл сзади — тихий, ровный, без удивления, без тревоги. Будто он знал, что найдёт её здесь. Будто шёл за ней всё это время — этаж за этажом, запах за запахом,

воспоминание за воспоминанием.

Она обернулась.

Оптимист стоял в коридоре — высокий, в свете, который здесь был не медовым, а серебряным, лунным, нездешним. Его лицо было спокойным. Слишком спокойным. Спокойным так, как бывают спокойны люди, которые знают, что сейчас произойдёт, и не могут это остановить.

— Что это за этаж? — спросила она.

— Ароматный, — ответил он. — Так я его называю.

— А на самом деле?

— На самом деле — шестьдесят первый.

— Его не было на картах.

— Много чего не было на картах.

Он подошёл. Бесшумно, как всегда, — и в то же время тяжело, как человек, который несёт что-то очень тяжёлое и не может поставить. Остановился рядом. Не касаясь. Но так близко, что она чувствовала его тепло — не от тела, от чего-то другого, от чего-то, что шло от него волной, как свет от угасающего костра.

— Эти воспоминания не мои, — сказала Наталия.

— Нет.

— Чьи?

Он молчал. Три секунды. Пять. Десять.

Потом он взял её за руку.

Не попросил. Не предупредил. Взял — мягко, уверенно, как берут за руку ребёнка, который забрёл слишком далеко и

ещё не понял, что заблудился. Его ладонь была сухой и тёплой, и между их пальцами пробежал ток — лёгкий, быстрый, как искра от шерстяного свитера, — и Наталия не отдёрнула руку.

Не потому что не хотела.

Потому что тело сказала: «Ну да. Конечно. Я знаю.»

Он повёл её по коридору — мимо корицы, мимо мокрого камня, мимо мёда, мимо шоколада, мимо лилий, — к лестнице, вверх, прочь. И не объяснял.

Наталия молчала первые десять ступеней. Одиннадцатую — спросила:

— Вы не расскажете мне.

— Нет.

— Почему?

— Потому что вы должны вспомнить сами.

— А если не вспомню?

Он остановился. Повернулся. Посмотрел — не на неё, а в неё, как смотрят в окно, за которым — что-то, что можно увидеть только при определённом свете. И медовый свет сейчас был именно таким.

— Вспомните, — сказал он. — Цитадель вас не отпустит, пока вы не вспомните.

Он сказал это легко. Как факт. Как погоду. Как данность, которую нельзя изменить и не нужно.

Но в его голосе — там, внизу, под спокойствием, под уверенностью, под ровным тёплым баритоном — дрожало что-

то. Тонкое. Как струна, которую задели мимоходом и которая ещё звучит, ещё звенит, ещё не знает, что оборвётся.

Наталия услышала.

И промолчала.

И рука его — тёплая, сухая, не отпускавшая — вела её вверх, и шестьдесят первый этаж оставался внизу, и шесть дверей стояли закрытыми, и шестая — самая важная — не открылась.

Глава 4. Тёплый пол

Сорок седьмой этаж звал.

Не голосом — теплом. Наталия чувствовала это, как чувствуют приближение грозы: не ушами, не глазами — чем-то третьим, спрятанным между рёбрами, чуть левее центра. Пол на сорок седьмом был тёплый, и это тепло тянуло, звало, манило — как дом манит того, кто слишком долго шёл по снегу.

Она возвращалась.

Каждый день — спускаясь по лестнице мимо сто двенадцатого, где эхо длиннее, мимо шестьдесят первого, где шесть дверей хранили чужие воспоминания, — на сорок седьмой, где пол дышал.

Первый раз она просто присела.

Присела — и осталась. Камень был тёплым не от труб, не

от огня, не от чего-то, что можно объяснить. Он был тёплым, как бывает тёплой земля в июле — изнутри, от сердца, от чего-то, что спало под ним и видело сны. Наталия села, потом легла — на бок, поджав колени, прижавшись щекой к полу, — и тепло вошло в неё, медленно, как мелодия входит в комнату: сначала чуть-чуть, потом до конца, и уже не выгнать.

Цитадель дышала.

Не метафорой. Не сравнением. Дышала — и Наталия, прижавшись ухом к полу, слышала: вдох — длинный, глубокий, где-то в подвалах, в фундаменте, в самом нутре двухсот этажей; выдох — короче, теплей, с лёгким гулом, как стон, который не завершился. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ритм был ровным и медленным — три вдоха в минуту, — и Наталия считала, и считая — засыпала.

Второй раз она пришла на закате.

Полярная ночь не знала закатов, но Цитадель знала. Свет в окнах верхних уровней из медового становился янтарным, потом медным, потом тёмным — и где-то между медным и тёмным Наталия снова лежала на полу сорок седьмого, и Цитадель дышала под ней, и она дышала вместе с ней — три вдоха в минуту, синхронно, как два сердца, которые нашли друг друга и больше не расходились.

Она видела сон. Или не сон — воспоминание, но не из

тех, что хранились на ароматном этаже. Другое. Её. Точно её — потому что в нём было её имя, и имя звучало так, как может звучать только собственное имя, произнесённое голосом, который любил.

Но голос — она не помнила голос. Помнила только тепло. И пол. И дыхание.

Третий раз она не помнила.

Она помнила — лестница, коридор, дверь. Помнила — пол, тепло, дыхание Цитадели. Дальше — обрыв, темнота, тишина, и в тишине — только три вдоха в минуту.

Оптимашёл её на рассвете.

Не на рассвете — в тот час, когда Цитадель меняла свет с тёмного на медовый, когда окна верхних уровней загорались первыми, как маяки на берегу моря, которое никто не видел. Он спускался — бесшумно, как всегда, — и остановился в дверях зала на сорок седьмом.

Она спала.

Лежала на боку, поджав колени, прижавшись щекой к камню — и камень под ней был тёплым, и Цитадель дышала под ней, и Наталия дышала вместе с ней, и волосы её — тёмные, длинные, рассыпанные по полу — лежали так, как ложатся корни деревьев по земле: не случайно, не хаотично,

а по линиям, которые знает только земля.

Оптима не разбудил её.

Он сел рядом. Не касаясь — но так близко, что если бы она пошевелилась, его колено коснулось бы её руки. Сидел и смотрел — на лицо, на дыхание, на ресницы, которые вздрагивали во сне. Сидел и слушал — как Цитадель дышит под ней, и как она дышит вместе с Цитаделью, и как ритмы сливаются в один, и как этот один — ровный, медленный, глубокий — похож на тот, другой, давний, который он помнил и она не помнила.

Он снял мантию.

Тёмную, тяжёлую, сотканную из чего-то, что не было тканью — было дымом, тенью, сгущённым мраком, который принял форму одежды, потому что так было нужно. Мантия легла на Наталию легко — легче, чем должна была лежать вещь из тьмы, — и накрыла её от плеч до колен, и Наталия не шевельнулась, и Цитадель вдохнула глубже — на мгновение, на полвдоха, — как человек, который вздохнул с облегчением.

Оптима сидел.

Не спал. Не двигался. Не дышал — или дышал так тихо, что Цитадель дышала за двоих. Он сидел, и свет за окном менялся — медовый, золотой, белёсый, — и тени двигались по полу, и тени не трогали его, обходили, как вода обходит камень, и он был камнем, и она была землёй, и между ними — тёплый пол, который дышал.

Утром она проснулась одна.

Мантия лежала на ней — тёмная, лёгкая, пахнувшая дымом и чем-то ещё, чем-то, чему не было названия, но что было ближе всего к слову «рядом». Наталия села, и мантия сползла с плеч, и на полу — там, где сидел он — остался силуэт.

Тёмный. Чёткий. Из пепла.

Не золы. Не саж. Пепла — тонкого, серебристо-серого, как иней, как первая седина, как пыль, которую оставляют крылья бабочек на пальцах тех, кто держал их слишком крепко. Силуэт повторял его позу — вытянутые ноги, прямая спина, руки на коленях, — и был таким точным, словно Оптима сидел здесь не ночью, а всегда, и тело его впечаталось в камень, как окаменелость, как след, который остаётся, когда уходит тот, кто был слишком тяжёлым — не телом, а присутствием.

Наталия дотронулась.

Пепел был тёплым.

Она отдёргнула руку. Посмотрела на пальцы — чистые, без следа, — и снова дотронулась. Пепел не пачкал. Он был тёплым и сухим, и под ним камень был теплее обычного, и Цитадель дышала глубже — на этом месте, именно на этом, — как дышат глубже там, где кто-то любимый только что лежал рядом.

Наталия не понимала.

Что это — пепел? Почему — силуэт? Почему — тёплый? Почему Цитадель дышит на этом месте иначе, чем на других, и почему она, Наталия, знает это, знает телом, знает теплом, знает тем, что ниже слов?

Она не понимала.

Но впервые не боялась.

Мантия лежала на её коленях. Тёмная. Лёгкая. Пахнувшая — нет, не дымом. Пахнувшая им. Тем, что было им, когда он молчал: тёплым камнем, зимним воздухом, тишиной, которая стоит после последнего аккорда.

Наталия поднесла ткань к лицу — и остановилась, не коснувшись. Замерла. С мантией у подбородка, с закрытыми глазами, с дыханием, которое сбилось на мгновение — на одно мгновение, на вдох, — и выровнялось снова.

Она не прижала мантию к лицу.

Но и не отпустила.

Сложила. Аккуратно. Положила на пол — рядом с силуэтом, рядом с тёплым пеплом, рядом с местом, где он сидел, — и встала, и пошла к лестнице, и босые ноги шлёпали по тёплому камню, и Цитадель дышала под ней — три вдоха в минуту, — и Наталия знала, что вернётся.

Завтра. И послезавтра. И послепослезавтра.

Потому что сорок седьмой этаж звал — не голосом, не

словами, — теплом. И теплу этого зала нельзя было отказать, как нельзя отказать дыханию, как нельзя отказать сердцу, которое бьётся не потому, что ты велел, а потому, что так устроено.

И на полу оставался силуэт.

И пепел был тёплым.

И Цитадель дышала.

Глава 5. Эхо ста двенадцатого

На сто двенадцатом этаже эхо было длиннее.

Наталия знала это с первого дня — с того, как кашлянула и голос вернулся дважды, петляя по коридорам, как собака, ищущая хозяина. Эхо здесь жило. Не отражалось — жило. И сегодня оно заговорило.

Она пришла утром. Или в тот час, который Цитадель называла утром, — когда медовый свет в окнах сменялся на молочный, и тьма за стеклом отступала на полшага, не больше. Наталия шла по коридору — привычному, тёплому, знакомому, — и напевала. Без слов. Мелодию — ту, из шестой комнаты ароматного этажа, колыбельную без слов, которую помнило тело и не помнила голова.

Эхо подхватило.

Но не мелодию.

— Я тебя вижу.

Наталия остановилась.

Голос — женский, низкий, с хрипотцой, с теплом, с чем-то древним, как пыль на книгах, которых никто не открывал, — шёл отовсюду. Из стен. Из пола. Из воздуха. Не отражение её голоса — другой. Чужой. И живой.

— Я тебя вижу. Я тебя ждала.

Слова возвращались по коридорам — дважды, трижды, — наслаиваясь, как круги на воде, и каждое повторение было тише, и каждое — ближе, и последнее — совсем тихое, совсем близкое, словно кто-то стоял за её спиной и шептал в затылок, в волосы, в то место между рёбрами, где пряталось то, что ниже слов.

Наталия не оборачивалась.

Она знала — никто. Знала — эхо. Знала — голоса в Цитадели не принадлежат никому, как ветер не принадлежит небу. Но тело — тело, которое помнило сорок седьмой этаж, и ароматный, и вытертые ступени, — тело обернулось. И тело увидело пустоту. И пустота была не пустой.

В стене — в торцевой, каменной, без двери, без окна, без трещины, — светился силуэт. Женский. Высокий. С длинными волосами, которые текли по камню, как тень воды. Силуэт не двигался. Он дышал. Вдох. Выдох. Три вдоха в минуту. Как Цитадель. Как Наталия на полу сорок седьмого.

— Кто ты? — спросила Наталия.

Эхо ответило не сразу. Оно бежало по коридорам — сто двенадцатый, сто одиннадцатый, сто десятый, — и где-то на

сто девятом обернулось, и вернулось, и шепнуло:

— Ты уже знаешь.

Наталия не знала.

Или знала — и не могла, и не хотела, и боялась.

Силуёт в стене дышал. Наталия дышала. Между ними — камень, тёплый, живой, пахнущий кедром и мокрой бумагой, и где-то далеко, на шестьдесят первом этаже, шесть дверей стояли закрытыми, и шестая — самая важная — молчала, потому что ответ был здесь. На сто двенадцатом. В эхе. В голосе, который ждал.

— Я тебя вижу, — повторил голос. — Я тебя ждала.

И в третий раз — тише, ближе, как последнее слово перед сном, как выдох, который не завершается:

— Я тебя вижу. Я тебя ждала. Ты — моя.

Наталия побежала.

Не шла — побежала. Босые ноги по тёплому камню, волосы за спиной, дыхание рваное, и эхо бежало за ней — сто двенадцатый, сто тринадцатый, сто четырнадцатый, — и догоняло, и шептало, и не отставало, и только на сто двадцатом замолчало, как обрезанное, как задушили, и вместо него — тишина, густая, ватная, и в тишине — собственный пульс в ушах, и шаги, и крик, который она не слышала, но который был — где-то внутри, в горле, в груди, в том месте, откуда выходят слова, которых не говоришь.

Лестница. Пролёт. Ещё один. Оптима стоял на сто тридцатом.

Она врезалась в него — не в руку, не в плечо — в него, всем телом, как в стену, как в дверь, которая не открывалась, и он принял, и не отступил, и руки его — длинные, неуклюжие — легли на её спину, и одна — на затылок, и он прижал её к себе, и она дрожала, и он молчал, и Цитадель молчала, и впервые — впервые — всё молчало.

— Там голос, — сказала она в его грудь. Не подняв головы. Не открыв глаз. — На сто двенадцатом. Женский. Он говорит, что видит меня. Что ждал. Что я — его.

Оптима молчал.

Наталия подняла голову — и увидела.

Он боялся.

Не так, как боятся те, кто похищает, — холодно, расчётливо. Не так, как боятся хозяева, — за свою власть. Он боялся — как боятся потерять. Глаза — тёмные, глубокие, в которых медовый свет тонул, как в колодце, — были широкими. Слишком. Рот — сжат. Скулы — острые, напряжённые, как у человека, который стискивает зубы, чтобы не закричать. Руки на её спине — сжались, и она почувствовала, как пальцы дрожат, — мелко, быстро, как струна, которую задели и которая ещё не решила, оборваться или звучать.

Он боялся.

За неё.

— Покажите, — сказал он. Голос был ровным. Руки — нет.

На сто двенадцатом было пусто.

Силуэт в стене исчез. Камень — гладкий, тёплый, обычный. Эхо — молчало. Наталия стояла посреди коридора и смотрела на стену, где минуту назад дышала женщина с длинными волосами, и ничего. Только тепло. Только камень. Только тишина, которая была тише обычной, как тишина после того, как кто-то уходил и забывал закрыть дверь.

— Здесь, — сказала она. — Вот здесь. Она была.

Оптима стоял у стены. Прижал ладонь к камню — и камень под его рукой стал тёплым. Горячим. Тепло пошло от его ладони, как кровь от раны, — и Наталия увидела, как тёмные вены на его запястье вздулись, и шрам — тот, белый, старый, от первой встречи на кухне, — стал красным, как раскалённый.

Он убрал руку.

— Этого не должно было произойти, — сказал он. Не ей. Себе. Камню. Цитадели. — Не сейчас. Не так рано.

— Что это? — спросила Наталия. — Чей это голос?

Оптима повернулся. Посмотрел на неё — и в его глазах, под страхом, под тоской, под чем-то, чему она не давала имени, — была мольба. Не просьба. Мольба. Как у человека, ко-

торый знает, что ответ разрушит всё, и не может молчать, и не может говорить, и стоит на грани.

— Некоторые голоса здесь не ваши, — сказал он. Каждое слово — отдельно, как камень, который кладут в стену. — Но они помнят вас лучше, чем я.

— Что значит — помнят?

— Цитадель помнит всех, кто в ней жил.

— Я здесь не жила. Вы меня похитили. Я здесь впервые.

Он молчал. И в молчании — целая эпоха. Целая жизнь. Целое слово, которое он не произнёс и которое было тяжелее всех произнесённых.

Он достал ключ.

Тяжёлый, чёрный, из того же материала, что мантия, — не металл, не камень, нечто третье, что было тьмой, застывшей в форме. Ключ подошёл к двери, которой Наталия не видела — или видела, но не замечала, потому что дверь была такой же, как стена, как пол, как воздух, — и дверь открылась, и за ней — лестничный колодец, тёмный, глубокий, уходящий вниз, в забытые этажи, в ту самую тьму, где стояли пустые залы и лестницы, ведущие в никуда.

Оптимист взял ключ. Поднял. Размахнулся.

Ключ полетел в темноту — и тьма приняла его, как вода принимает камень: без всплеска, без звука, без эха. Ключ ушёл вниз, и Цитадель вздрогнула — всем корпусом, всеми

двумястами этажами, — и свет в окнах мигнул, и пол дрогнул, и где-то в подвалах что-то стукнуло, один раз, как сердце, которое пропустило удар.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.